

СОБЫТИЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ЖЕСТА И ПОЭТИКА СОЦИАЛЬНОГО

Вахштайн В.С.

кандидат социологических наук

Государственный университет – Высшая школа экономики

MA in sociology

Московская школа социальных и экономических наук

University of Manchester

У статті акцентується увага на антиномії «свій»/»чужій», аналізуються різні аспекти перетворення життєвого світу в предмет соціологічного теоретизування, а також основні параметри матеріального підґрунтя соціальних подій: релевантність фізичного контексту, тілесність та тілесна залученість спостерігача, технічне опосередкування, рутинність. Зазначені параметри зорганізовані навколо ідеї контексту, що має різні інтерпретації.

The article focuses on the antinomy of "his" / "alien", analyzes the various aspects of the transformation of the living world into an object of social theorizing, as well as the basic parameters of the material base of social events: the relevance of the physical context, physicality and bodily involvement of the observer, technical mediation, conventionalism. These parameters are organized around the idea of context, which has different interpretations.

В статье акцентируется внимание на антиномии «свой»/»чужой», анализируются разные аспекты превращения жизненного мира в предмет социологического теоретизирования, а также основные параметры, материального основания социальных событий: релевантность физического контекста, телесность и телесная вовлеченность наблюдателя, техническое опосредование, рутинность. Указанные параметры организованы вокруг идеи контекста, имеющей различные интерпретации..

Ключевые слова: антропология, повседневность, событие, контекст, фрейм

1. Антропология повседневности

Известная социологическая легенда гласит: молодой британский антрополог А.Р. Рэдклифф-Браун, увлекшийся анархизмом и мечтавший о реформировании современного ему викторианского общества, обратился за советом к князю П.А. Кропоткину. Совет последнего был прост и недвусмыслен: «чтобы реформировать общество необходимо изучить его; изучать же лучше первобытные, примитивные формы социальной организации». Так, если верить легенде, Рэдклифф-Браун заинтересовался исследованием первобытных племен, а затем оставил идею изучения и преобразования современного общественного уклада.

Спустя двадцать лет, к самому Рэдклиффу-Брауну со сходным вопросом обратился начинающий социальный антрополог из Чикаго Уильям Л. Уорнер. Их беседа происходила в Австралии, куда Уорнер отправился для изучения жизни аборигенов. В ответ на вопрос Уорнера Рэдклифф-Браун повторил совет, полученный им некогда от Кропоткина, порекомендовав «начать с примитивных обществ».

Однако прервемся. Действительно ли совет, данный Кропоткиным Рэдклиффу-Брауну, и совет самого Рэдклиффа-Брауна Уорнеру идентичны? По легенде, да. Но слова, повторенные через двадцать лет, как «Дон Кихот», переписанный борхесовским Пьером Менаром, меняют свой смысл.

В совете Кропоткина угадывается свойственное позитивизму XIX века противопоставление простого сложному. Примитивные общества подчиняются тем же законам общественного развития, что и современные, только последние сложнее, дифференцированнее и потому менее доступны изучению. Антропологу требуется, препарировав простейшие социальные организмы, найти универсальные закономерности общественного бытия. Предлагая Рэдклиффу-Брауну «потренироваться на аборигенах», Кропоткин подчеркивает не отличие туземцев от своих современников, а их сходство.

В XX столетии классическая оппозиция «простое/сложное» вытесняется противопоставлением «свое/чужое». Теперь туземцев следует изучать именно потому, что они не похожи на изучающего их антрополога, они *иные*, а значит, нет риска отождествления, сочувствия, нет «риска искушенности», опасности перенесения на изучаемых аборигенов собственных, почерпнутых из повседневности, донаучных объяснений. Антрополог и туземец существуют в разных «жизненных мирах»; то, что для аборигена составляет ткань повседневности, для исследователя – не более чем материал к описанию и размышлению. Закономерно, что теперь все, интересующее антрополога, представляет собой «своеобразную квинтэссенцию чужого, Другого». При этом, с одной стороны, Другое привлекает, провоцирует любопытство, будит воображение, с другой – рождает тревогу, вызывает брезгливость, отталкивает, пугает или настораживает» [1,69].

На пике своего развития антропология становится наукой о «Другом». Является ли это «Другое» проще «Своего» не столь важно. Легко можно представить себе современного антрополога, который дает коллеге из племени Онжи с Андаманских островов совет: «Поезжайте в Чикаго и понаблюдайте за поведением жителей этих каменных джунглей; изучать того, кто тебе по определению не близок всегда проще, чем исследовать соседей».

Опубликовав результаты австралийских исследований, Уильям Ллойд Уорнер вернулся к студенческому замыслу – изучить современное американское общество методами социальной антропологии. Его исследование новоанглийского городка «Янки-Сити» [2] (г. Ньюберипорт, штат Массачусетс) стало поворотным пунктом в развитии социальной антропологии XX века – «свое», общее для исследователя и исследуемых, предстало в качестве «чужого», незнакомого истораживающего.

2. Феномен Постороннего

Сюжеты, основанные на представлении «своего» «чужим», уже давно перестали быть частью антропологических изысканий и перешли в массовую культуру. Героем многих современных фильмов оказался антрополог, пытающийся дать беспристрастное дистанцированное описание элементов собственного жизненного мира, уподобив его тем самым миру аборигенов. (Например, отец, описывающий обычаи и ритуалы друзей своей дочери, или аспирантка, исследующая брачные стратегии своих более удачливых в личной жизни подруг).

Возможность увидеть в «своем» «чужое» отличает Постороннего. Антрополог, исследующий повседневность, претендует на статус «постороннего», непричастного происходящему не в силу некоей априорной дистанции (какая разделяет, например, туземца и жителя викторианской Англии), а по «*праву отстраненности*».

Право исследователя на отстраненность – предмет многочисленных методологических дискуссий, большинство из которых развиваются вокруг двух тем: возможности/невозможности такой дистанции и ее необходимости/ошибочности. Поставим вопрос иначе – какова природа теоретической отстраненности от повседневного «жизненного мира»? В чем выражается эта дистанция, которая более не является дистанцией пространственной, исторической или генетической (связанной с разными траекториями развития), но не является также и чисто ментальной операцией отличения (иначе подобное отстранение целиком принадлежало бы области психических феноменов)? Видимо, ответ следует искать в самом строении социального мира.

Например, в переходе метро вы слышите музыку, которая на какой-то момент изменяет ваше отношение к реальности. Вы как бы приподнимаетесь над ситуацией, то, что до этой секунды казалось навязчиво присутствующим (шум поездов, сутолока, гомон разговоров идущих рядом людей) отступает на второй план, становится менее заметным. Сам ход времени изменяется и подчиняется теперь течению мелодии – вы убыстряете или замедляете шаг. Все, что волновало вас до этой секунды, кажется малозначимым, теперь совсем другие предметы обращают на себя ваше внимание. Когда мелодия заканчивается или вы удаляетесь от нее настолько, что больше не можете распознать, повседневность «возвращается», обрушиваясь звуками, прикосновениями, запахами, которые до того были вытесненными *переживанием Иного*. (В кинематографе такое возвращение реальности обычно иллюстрируется резким повышением уровня шумов и ускорением движения в кадре).

Другой пример – погружение в мир театрального представления, созерцаемой картины или книги. Невозможно одновременно находиться «внутри» изображенной действительности и «снаружи», в реальности повседневного. Нетрудно проехать свою остановку, зачитавшись в метро. Рама картины [3, 101-108], кромка сцены [4], поля текста очерчивают зону восприятия. Движение «внутри/наружу» – это всегда осцилляция, колебание, но никогда – одновременное присутствие; поскольку такое одновременное присутствие внутри и снаружи изображенной действительности уничтожило бы саму границу между ней и повседневной реальностью.

Наконец, самый яркий пример подобного рода отстранения от повседневности – сон. Однако собственно социальная теория сновидений, которая смогла бы изменить взгляд на содержание сна как «чисто психический феномен» и предложить новый категориальный аппарат анализа сновидений, еще ждет своего часа.

В каждом из описанных случаев «отстранение» означает выход в некую неповседневную область смысла, которая – при определенном отношении – не менее реальна, чем рутина обыденных действий. Альфред Шюц акцентировал тот факт, что каждая из этих областей обладает своей временной перспективой, своей формой специфического внимания к жизни, своим модусом сосуществования с другими людьми и требует своей, особой установки сознания [5]. Отдельно следует отметить, что каждая из таких «реальностей» – будь то реальность сна, эстетического переживания, эротической фантазии, религиозного опыта, шахматной игры или теоретического рассуждения – требует приостановки сомнения в чем-либо. Теоретизирующий антрополог может усомниться в осмысленности жертвоприношения, но для участвующего в ритуале аборигена смысл действия находится за гранью сомнения. Однако и сам антрополог не

сомневается в существовании тех реалий, которые маркирует терминами и соотносит друг с другом в соответствии с требованиями научного дискурса. Эти реалии (равно как и термины, и сам дискурс) составляют в свою очередь *проблему* для методолога, наблюдающего за теоретиком.

Следовательно, отстраненность антрополога – лишь одна из форм отстраненности, которые сопровождают нас ежедневно, лишь один из многочисленных «разрывов повседневности».

3. Границы повседневного

По мысли Шюца, всякий переход от одной страты реальности к другой предполагает «шок», «скачок», за которым скрывается радикальное изменение напряжения сознания. Мы испытываем шок при пробуждении, при завершении спектакля, когда падает театральный занавес, при первых и последних аккордах захватившей нас мелодии. Эффект «возвращения» мира, о котором говорилось выше, – это тоже результат «скачка» в повседневность. Так происходит смена «порядков существования» [6].

Скачок указывает на непроницаемость различных слоев реальности друг для друга. Эти слои замкнуты и представляют собой «конечные области значений». Религиозные переживания вырывают нас из повседневности и возвращают в нее. Чтение книги сопровождается постоянным погружением и «выныриванием на поверхность» текста. Однако отнюдь не всегда повседневный мир рутинных действий и «рабочих операций», как называет их Шюц, является исходной и конечной точкой перехода. Так, из области «религиозный экстаз» можно выйти в область «сна», а из нее – в регион «фантазии». Все эти переходы осуществляются без транзита через повседневность.

Что в таком случае заставляет говорить о мире повседневности как о «верховой реальности» (от автора – *verhooft*) реальность – именно так называют этот регион У. Джеймс и А. Шюц)? Если мир повседневной рутины для нас – лишь «один из возможных», не наделенный статусом единственно реального, то ничего не удерживает от шага релятивизации и тогда повседневность оказывается в одном ряду, например, с вымышленными, сконструированными мирами. (Этот шаг делает в своих поздних работах выдающийся исследователь повседневной жизни Ирвинг Гофман) [4]. Назовем такое утверждение «релятивистской» или «слабой» программой в социальной антропологии повседневности.

Напротив, если для нас повседневность – единственная непреложная реальность, собственно та реальность, в которой мы действуем, активно изменяя условия своего существования, то все остальные миры – лишь вкрапления в материале обыденного, что-то разрывающее его, но неослабимое с ним по плотности. Назовем построения, основанные на такой аксиоме, «онтологистской» или «сильной» программой антропологии повседневности.

В своих радикальных вариантах «релятивистская программа» допускает смешение и симбиоз порядков существования. Граница между ними стирается, жизнь интерпретируется как бесконечный карнавал, в котором отсутствует всякая упорядоченность. Игра, фантазия, ритуал, сон, теоретизирование и, собственно, сама повседневность соединяются в неразличимом потоке. Развитие же классической «онтологистской программы» ведет к попыткам упорядочить и составить полный каталог миров (от автора яркая тому иллюстрация – попытка А. Бергсона расположить все «планы бытия» на континууме: от плана действия до плана сновидения). А поскольку один из этих миров является априорно «верховным», все остальные располагаются по степени убывания реальности. Онтологизация повседневности в конечном итоге приводит к стратификации реальности – различению реальностей первого, второго и третьего сорта.

Какое бы теоретическое решение не было принято в отношении соположения миров – утверждается ли идея их упорядоченного размещения на континууме «более реальное/менее реальное» или признается смешение и равнозначность (в которой легко угадывается симптом современной виртуализации мира, где, например, мир компьютерной игры оказывается более реален, чем мир рутинных повседневных действий) – методологические проблемы теоретизирования о повседневном остаются. Сформулируем задачу: каким образом «свое», данное непосредственному наблюдению и являющееся неотъемлемой частью жизненного мира, может быть представлено *иным* – собственно, предметом социального исследования?

4. Событие

Состояние сознания, доминирующее в мире повседневности, Шюц (вслед за Э. Гуссерлем) называет «естественной установкой». Благодаря естественной установке мы непроблематично оперируем объектами и понятиями, участвуя в коллективной игре – повседневных межличностных взаимодействиях. Естественная установка позволяет нам предвосхищать будущее и пользоваться всем запасом накопленного повседневного опыта, не сознавая того: например, правило прохода по эскалатору («стойте справа, проходите слева») является для человека, обладающего достаточным опытом перемещений в метро, элементом «наличного знания» – самоочевидным, нерелексируемым, инкорпорированным в тело.

У «естественной установки» есть несколько отличительных черт (противопоставляющих ее, в частности, рефлексивной установке ученого), одна из которых – континуальность сознания. «Для естественной установки, – пишет Шюц, – мир не является и никогда не был просто совокупностью

цветовых пятен, беспорядочных звуков, очагов тепла и холода. Философский или психологический анализ строения наших переживаний может впоследствии ретроспективно описать, как элементы этого мира влияют на наши ощущения, как мы пассивно воспринимаем их неразличимыми и смешанными, как посредством активного восприятия наш ум выделяет некоторые свойства из перцептивного поля, постигая их в виде четко очерченных вещей, проступающих в окружении более или менее неотчетливого фона или горизонта» [5].

Иными словами, наше сознание повседневности непрерывно и лишь последующая аналитическая рефлексия разрывает, фрагментирует этот опыт. (Здесь уместно выражение американского философа У. Джеймса – *«поток сознания»*: «...сознание всегда является для себя чем-то цельным, не раздробленным на части. Такие выражения, как “цепь (или ряд) психических явлений”, не дают нам представления о сознании, какое мы получаем от него непосредственно. В сознании нет связей, оно течет непрерывно. Всего естественнее к нему применить метафору “река” или “поток”») [7, 56-57].

Тем не менее, в модусе рефлексивной установки, отличающей наблюдателя-антрополога, социальная жизнь предстает дискретной, расчлененной на фрагменты, которые, собственно, и являются элементами анализа. *Неизменный атрибут превращения «своего» в «иное» – представление непрерывного дискретным.*

Если ранее мы говорили, что повседневность можно вообразить в виде плотной ткани с вкраплениями чуждых ей неповседневных порядков, которые разрывают эту ткань, заполняя прорехи переживаниями Иного, то теперь речь идет о разрезании ткани повседневности на куски разного размера и формы. Такие «куски» мы далее, вслед за А.Ф. Филипповым, будем называть *событиями* [8].

В обыденном языке «событиями» называют лишь те фрагменты, которым присваивают большую ценность и особое значение, в теоретическом же отношении событием (т.е. единицей анализа повседневной реальности) является всякий – *наделенный смыслом и совершающийся в пространстве и времени* – элемент социальной жизни.

Смысл выступает в роли лекала, по которому из повседневности «вырезаются» события. Смысл навязывается событию извне, наблюдателем. В отличие от «субъективно полагаемого смысла», к которому прибегает в своем определении социального действия М. Вебер, смысл события не в ткани повседневности (что, впрочем, отнюдь не лишает повседневное действие осмысленности для самих действующих), он накладывается поверх нее, определяя «размер» и «форму» вырезаемых фрагментов. Следовательно, смысл составляет конститутивную основу социального события. *Вторая отличительная черта представления «своего» «иным» – присвоение отдельным элементам повседневности некоего «кванта смысла», их обозначение, маркировка в определенной системе координат.*

Так, процесс антропологического наблюдения и интерпретации наблюдаемого – т.е., наложения на него смысла – превращает целостную (при естественной установке) картину реальности в пазл. С этим тесно связан еще один аспект превращения жизненного мира в предмет теоретизирования – *ретроспективность* его восприятия.

Событие повседневности доступно лишь в ретроспекции. Когда я говорю «Я пишу текст», я от текста вынужденно отвлекаюсь, и, следовательно, событие написания прерывается, я выхожу из процесса, делая его предметом рефлексии. Поэтому события повседневности всегда существуют в модусе перфектного времени, которое требует работы памяти. «Я пишу текст» в действительности означает «Я писал его до той минуты, пока не сделал сам текст предметом отстраненного анализа и не начал писать о том, что пишу текст». Именно поэтому «настоящесть» события всегда ускользает от исследователя. Даже событие в настоящем времени – это событие перфектное, завершенное или прерванное. *Такое посредничество памяти – есть третье необходимое условие представления «своего» «иным».*

Ретроспективность изучения повседневности представляет собой временное выражение той дистанции, о которой говорилось выше – дистанции отстраненности. Таким образом, между собой оказываются связаны дискретность и ретроспективность социальных событий. Если воспользоваться выражением чешского романиста М. Кундеры «Память не снимает фильм, память фотографирует».

Выше мы пытались показать как, рассыпаясь на дискретные события и будучи ретроспективно осмысленной, повседневность становится теоретической проблемой. Далее мы рассмотрим, каким образом мельчайшее из подобного рода повседневных событий – *событие обыденного жеста* – может быть вычленено из потока социальной интеракции и проанализировано в логике социальных наук.

5. Событие повседневного жеста

В качестве примера рассмотрим ситуацию речного круиза. Прогулочный катер плывет по реке в центре города. На его палубе пассажиры «убивают время», общаясь, осматривая окрестности, употребляя прохладительные и горячительные напитки. В непосредственной близости от движущегося катера, на набережных, мостах или встречных катерах, также располагаются люди –

прохожие, отдыхающие, убивающие время. Отстраненный наблюдатель может заметить, как у одного из пассажиров катера вскидывается в приветственном жесте рука. Приветствие, очевидно, адресовано незнакомым людям на мосту, набережной или другом катере. В некоторых случаях на него отвечают, в некоторых – оно остается без ответа. Однако для целей нашего анализа это несущественно. Интересующее нас событие – не обмен жестами, а собственно сам *взмах руки* пассажира катера.

Жест этот привлекает внимание своей двойственностью. С одной стороны, он принадлежит миру повседневности – если только совершающий его не находится в состоянии сна, опьянения или не воображает себя в данный момент Робинзоном Крузо, пытающимся привлечь внимание команды удаляющегося корабля. Машущий рукой с катера незнакомым людям вовсе не обязательно переживает «шок» или «скачок» по завершении движения руки. Да и сами границы этого скоротечного события обыденного жеста гораздо более очевидны наблюдателю, чем действующему. С другой стороны, в описанном жесте угадывается некая двусмысленность, игра, «намек на иное», смешение повседневных и неповседневных порядков существования (которые, по мысли представителей «онтологистской программы», всегда жестко разграничены).

Выделим значимые физические условия совершения события. Во-первых, значима пространственная дистанция, разделяющая действующего и тех, к кому обращен его жест. Приветствовать взмахом руки незнакомых людей, стоящих там же, на палубе, в зоне потенциальной доступности – абсурдно. Подобное проявление дружелюбия следовало бы анализировать в ином контексте (скажем, именно, как проявление дружелюбия, а не как имперсональный, никому конкретно не адресованный жест). Следовательно, для данного класса событий значимым оказывается наличие нередуцируемой дистанции – пассажир, машущий рукой, полагает, что адресаты вряд ли бросятся с моста на катер отвечать на его приветствие. Иными словами, *существенной оказывается такая дистанция, которая делает возможным взаимное восприятие друг друга, но исключает телесное соприкосновение в близком пространстве – «зоне возможных манипуляций».*

Жест, подобный описанному, мы можем наблюдать у человека, стоящего рядом с железнодорожным полотном и «провожающего» проносящийся мимо поезд – здесь также значима дистанция, исключающая переход кого-либо из адресатов в «манипулятивную зону» адресанта, также имеет место перемещение, из-за которого «перцептивные зоны» адресанта и адресатов пересекаются (*от автора - манипулятивная зона – это зона, непосредственно доступная для моих манипуляций. Например, предметы в той комнате, в которой я сейчас нахожусь, расположены в моей манипулятивной зоне. О понятии манипулятивной зоны более подробно у Дж. Г. Мида [9], значимость этого понятия для теории социальных событий раскрыта Филипповым А. Ф. [8]).* Перцептивная зона – зона, ограниченная возможностями восприятия. В нее попадают также и предметы, недоступные для манипуляций. Например, прохожие за окном.

Жест человека, провожающего поезд, так же имперсонален и ни к кому конкретно не обращен, как и жест пассажира катера. Общность физических условий двух этих событий (к пространственным характеристикам здесь следовало бы добавить временные – скоротечность пересечения перцептивных зон, обусловленная перемещением адресанта относительно адресатов, и, соответственно, скоротечность самого жеста) связана с общностью содержательных характеристик – имперсональностью, безадресностью действия.

Как именно связана? Об этом чуть позже. Пока зафиксируем: определение значения «мест», «зон», «моментов», «дистанций» и «перемещений» оказывается существенным для понимания специфики события, поскольку само *событие есть пространственно-временной элемент социальной жизни.*

Вернемся к вопросу о двойственности. Чтобы понять игровую природу жеста приветствия незнакомых людей, случайно оказавшихся в зоне восприятия, но абсолютно недоступных для зоны манипуляции, необходимо знать о другом, не игровом жесте. То есть, у наблюдаемого нами жеста есть «прототип», на который «намекает» приветствие случайных встречных, и этот прототип, очевидно, принадлежит миру обыденных рутинных операций. Именно тот факт, что данное действие, столь *уместное* при встрече друзей, оказывается выхваченным из контекста и воспроизведенным в иной ситуации, мешает нам однозначно отнести наблюдаемое событие к разряду повседневных. Поскольку в жесте пассажира катера есть элемент игры, пародии, превращения повседневной реальности в ее изображение, «перфоманс».

Если у выделенного нами жеста нет прототипа в мире повседневности (то есть, если отсутствует связь между данным «игровым» событием и событием «обычным» – ничем не примечательным приветствием двух знакомых), нам пришлось бы признать, что это действие порождено «здесь и сейчас» и является выражением некоего ситуативного импульса, все равно внутреннего или внешнего. Тогда пришлось бы признать и случайность этого проявления, в дальнейшем рассуждении всячески воздерживаясь от аналогии между зафиксированным нами поведением пассажира и конвенциональными жестами приветствия/прощания. Напротив, признание связи описанного действия с действием «непревращенным», «обыденным», с

«естественным жестом» приветствия, требует расширить рамки анализа, включив в них весь тот кластер событий, который находит отражение в данном конкретном жесте.

Два приведенных выше способа рассуждения о событии предлагают различные логики его анализа. В первом случае событие встраивается в ряд изоморфных ему (т.е., сходных по форме, но не связанных непосредственно) событий. Жест пассажира катера оказывается в одном ряду с жестом человека, салютующего проходящему поезду. Во втором случае анализируемое событие описывается через его связь с иными событиями, которые выполняют по отношению к данному функцию «прототипа» или, напротив, являются его «копией». Тогда жест человека на палубе сопоставляется с ритуалами приветствия хорошо знакомых людей. Следовательно, наблюдение этого жеста именно как дискретного события становится возможным только благодаря изначальному знанию других – коррелятивных данному – жестов.

Для этой, второй логики анализа пространственно-временные характеристики не имеют принципиального значения – рассматриваемое событие интересует исследователя лишь как знак, заместитель, символическая репрезентация другого события. В ней выявляется «потенциал сигнификации», которым данное событие обладает (то есть, совокупность всех тех ненаблюдаемых «здесь и сейчас» событий, знаком которых оно является и знание которых предполагает его идентификация). Напротив, когда речь идет о «местах», «моментах» и «перемещениях», событие видится как происходящее «здесь и сейчас», несомненное в своей данности, конкретности, наблюдаемости. Соответственно, событие рассматривается либо в качестве знака, либо в качестве *пространственно-временного элемента* социальной жизни.

6. Событие как знак. Логика сигнификации

Всякий раз, когда мы говорим, что событие X есть знак события Y, мы начинаем рассуждать в *логике означания*, сигнификации. Описанный нами жест пассажира катера двусмыслен, поскольку содержит в себе знаковые, фигуративные компоненты. Событие этого жеста является репрезентацией других событий – обычных каждодневных приветствий. Однако здесь приветствие обыгрывается, приобретая дополнительные коннотации. Ирвинг Гофман замечает: «Игривый настрой приветствуется, когда действие физически невозможно выполнить всерьез; например, когда из окон проезжающих мимо поездов незнакомые люди машут друг другу, а Софи Лорен, по прилете в международный аэропорт Кеннеди послала воздушный поцелуй служащему аэропорта через иллюминатор в ответ на его приветствие» [4, 110]. Приведенные Гофманом примеры по своим знаковым характеристикам совпадают с нашим: событие не интерпретируется буквально, а отсылает к иному событию из области повседневных взаимодействий. Физическая невозможность «серьезного» выполнения действия лишь усиливает его «игровую» природу, акцентирует знаковые компоненты события. Гофман подчеркивает, что само перенесение жеста из одного ситуативного контекста в другой, трансформирует его содержание, превращая событие в знак, репрезентацию иного события.

Решающая роль в этой трансформации принадлежит «смене ситуативных контекстов» или, если воспользоваться терминологией Гофмана – «переключению фреймов». Благодаря трансформации контекстов, драка становится боксом, погоня – бегом, война – учениями, политические дебаты – инсценировками дебатов по заготовленным сценариям, а полет самолета – демонстрацией полета самолета; тогда как события в данных ситуативных контекстах связываются отношениями сигнификации. Например, событие «передислокация войск» может произойти в двух разных контекстах (фреймах): «военные действия» или «учения». Во втором случае оно будет рассматриваться как результат переключения фреймов, то есть, как знак, заместитель настоящей передислокации. Событие «Отелло убивает Дездемону» может быть частью «спектакля» или «репетиции». Второй контекст регламентирует происходящее менее жестко, не требуя от актера той самоотдачи, которая потребуется от него на премьере, потому что репетиция – это *макет* спектакля, а «репетиция убийства» представляет собой репрезентацию, призванную замещать событие «убийства Дездемоны» до премьеры.

Однако в какой мере означаемое событие само лишено знаковых компонентов? Можно ли с уверенностью сказать, что за ним уже не скрывается никакое другое, «более подлинное» событие? Например, контекст «спектакль», очевидно, не является конечным. Событие, изображенное на сцене, может быть рассмотрено как знак изображаемого события, взятого из «непридуманной жизни». Иными словами, событие X является знаком события Y, которое в свою очередь оказывается знаком события Z. Это хорошо заметно на нашем примере с жестом приветствия, адресованным незнакомому человеку.

Анализируемое нами событие жеста – это своего рода знак повседневного приветствия, также содержащего в себе знаковые, фигуративные компоненты. «Например, – пишет Гофман – в ритуал приветствия входят вопросы о здоровье, которые никто не воспринимает буквально. Во время приветствий иногда целуются – этот жест, заимствованный из сексуальной формы проявления радости, почти лишен телесности. Мужчины, приветствуя друг друга, иногда обмениваются ударами по плечу, но очевидно никто не воспринимает их как настоящее нападение. Приобретая некоторый опыт наблюдения за подобными церемониями, мы научимся безошибочно опознавать

приветствия. Любой самый простодушный поступок может иметь фигуративные компоненты, которые останутся незамеченными, если исходить из предположения, что поступок совершенно простодушен» [4,108]. При внимательном наблюдении, даже в самом обыденном приветствии обнаруживаются фигуративные компоненты, отсылающие к другим повседневным или неповседневным регионам смысла. Эти компоненты связаны с проявлениями заботы, сексуального общения или спортивной агрессии так же, как, например, традиционный для нашей культуры ритуал мужского рукопожатия несет в себе непреднамеренное сообщение: «в моей руке нет оружия».

Логично предположить, что и за «событием Z» обнаружится ряд других событий, которые оно означает. («Любое из изображений может быть в свою очередь создано путем копирования чего-то такого, что само является макетом и это наводит нас на мысль, что суверенным бытием обладает отношение, а отнюдь не субстанция») [4, 677]. *Сеть отношений означания опутывает события повседневной жизни, связывая их с иными, неповседневными порядками существования.* Таково фундаментальное допущение той логики рассуждения, которую мы назвали логикой сигнификации.

Однако из приведенного утверждения следует, что ни одно событие, содержащее в себе фигуративные компоненты, не происходит лишь «здесь и сейчас», в мире рутинных рабочих операций – ни одно из них не *имманентно* ситуации. Обычное приветствие двух друзей оказывается означаемым событием для взмаха руки пассажира катера и, одновременно, означающим событием для некоего первобытного ритуала демонстрации мирных намерений.

Но такое допущение размывает само понятие повседневного события! Получается, ни один повседневный ритуал (приветствие, прощание, тост, пожелание приятного аппетита или спокойной ночи) не принадлежит целиком обыденной реальности лишь на том основании, что «повторяется ежедневно» или «совершается при естественной установке сознания», а занимает пограничное положение между повседневностью, ролевой игрой, религиозным переживанием и т.д. Если «все связано со всем», невозможно определить границы контекста интерпретации, содержание событий теряется в игре знаков и бесконечном лабиринте отражений. Тем не менее, в своих обыденных наблюдениях событий окружающей действительности мы, как правило, весьма точно определяем границы контекстов интерпретации. В этой способности угадывается свойство повседневных событий, которое Г. Бейтсон, обсуждая проблему контекстов игры и фантазии, назвал «нетранзитивностью» [10, 213].

7. Событие как знак. Проблема нетранзитивности

Предположим, что событие «взмах руки», зафиксированное нами на прогулочном катере, находится в отношении сигнификации с повседневным событием «приветствие», которое в свою очередь является репрезентацией события «ритуал демонстрации мирных намерений». Значит ли это, что можно проследить прямую связь между «взмахом руки» и «демонстрацией намерений»? Очевидно, нет. Расширенный контекст интерпретации (включающий себя как знание ситуации, в которой наблюдался игровой жест, так и знание о контексте повседневного непревращенного жеста) ограничивается здесь одной единственной связью между взмахом руки и обычным приветствием. *Из того, что событие X означает событие Y (или целый кластер событий Y1, Y2, Y3), которое, в свою очередь, означает событие Z (Z1, Z2, Z3), вовсе не следует, что событие X означает событие Z.* Это свойство прерывания цепочки означаемых и означающих событий и называется нетранзитивностью. Именно потому, что отношения событий нетранзитивны, контекст интерпретации каждого из них сохраняет свои границы.

Но что стоит за нетранзитивностью отношений означания между событиями? Почему прерывается сигнификация? Рассмотрим две гипотезы, нацеленные на прояснение этого феномена.

Во-первых, разные компоненты события (или, если воспользоваться определением А.Ф. Филиппова, разные «моменты его логической конструкции») в разных контекстах становятся знаковыми. Например, приветствие мужчины и женщины, включающее поцелуй и вопрос о настроении. Данный вопрос не следует воспринимать как фигуративный компонент, если кто-то из здоровающихся недавно пережил депрессию и собеседник действительно желает осведомиться о его душевном состоянии. Напротив, поцелуй – это фигуративный компонент, если только здоровающихся не связывают интимные отношения; тогда он перестает быть «жестом, заимствованным из сексуальной формы проявления радости, почти лишенным телесности».

Любопытно, что как наблюдатели, так и участники событий способны распознавать является ли некий компонент события знаковым или нет. Поцелуй знакомых отличается от поцелуя любовников. Вопрос «как настроение?» заданный с намерением получить ответ и без такового – по-разному интонируется. Знаковые компоненты повседневных событий зачастую сопровождаются *маркерами фигуративности*, которые в функциональном отношении подобны кавычкам. Эти маркеры указывают, что данный аспект наблюдаемого события не надо воспринимать буквально или, по выражению Гофмана, «простодушно».

С маркерами фигуративности тесно связаны многочисленные ошибки интерпретации повседневных событий: два ученика изображают драку (не нанося, а маркируя удары), но учитель видит только двух дерущихся подростков; молодой человек приглашает к себе девушку осмотреть его коллекцию полевых жуков и вызывает ее искреннее недоумение тем, что действительно демонстрирует ей жуков и т.д. (Психологический и социологический подходы к анализу подобных ошибок фигуративности предложены соответственно в транзактном анализе Э. Берна и теории фреймов И. Гофмана) [11].

Второе возможное решение проблемы нетранзитивности: различные события могут быть связаны разными отношениями означания. Одно и то же событие может отсылать к другим событиям по-разному. Для того чтобы представить себе хотя бы приблизительную классификацию способов сигнификации нам потребуется еще раз обратиться к теории знаков.

Ч.С. Пирс выделил три вида знаков, взяв за основу их отношение к обозначаемому объекту [12,222].

Во-первых, обозначение может отсылать к целому кластеру гораздо более абстрактных означаемых. Такова природа символа. Например, событие «первый полет человека в космос» – это событие-символ, поскольку за ним скрываются такие труднодоступные непосредственному постижению означаемые как «начало космической эры», «последнее достижение человеческого разума», «выход на новые рубежи познания». Ошибочно думать, что события-символы укоренены только в больших нарративах. Первый шаг ребенка, первый прорезавшийся у него зуб, первое произнесенное им слово – все эти события в жизни семьи играют роль символически. (Любопытно, что в обыденной речи такого рода события называются «знаковыми». Однако мы не можем позволить себе подобного определения, поскольку отнюдь не всякое событие-знак является также и событием-символом).

Событие-символ – это всегда «событие вообще», подобно тому, как памятник рабочему, это памятник «рабочему вообще», а шаг Нила Армстронга на Луне – это «шаг человека вообще». Событие-символ лишается индивидуальных своих черт, чтобы служить маркером группы событий или целой хронологии. (Таковы, например, «учредительные события», дающие начало новым хронологиям – «эра от рождения Христа», «эпоха изгнания после разрушения Храма» и т.д.).

Во-вторых, знак в своем индивидуальном существовании может быть связан с индивидуальным объектом. Такова специфика *индекса*. Событие-индекс интерпретируется как знак в силу некоторой конвенциональной связи между ними. Например, событие падения вилки со стола может быть проинтерпретировано как индекс события «приход незваной гостьи», а событие «лунное затмение» как индекс событий «чума», «мор», «голод». На идентификации событий-индексов основана прагматика народных примет.

Как замечает Ч. Пирс: «Отпечаток ноги, найденный Робинзоном Крузо, служил ему Индексом того, что на его острове есть некое существо, а тот же отпечаток ноги, высеченный в гранитном монументе славы, будучи Символом, возбуждает в нас идею человека вообще» [12,223]. Применительно к событиям: выход человека в открытый космос для широкой аудитории может символизировать совершенствование современных космических технологий и одновременно быть для специалистов индексом успешного функционирования системы автономного жизнеобеспечения.

Тем не менее, различия событий-индексов и событий-символов для наших целей явно недостаточно. (Тем более что одно и то же событие-знак может выступать в обоих этих сигнификативных качествах). Необходимо указать на третий тип события-знака – *иконический*. Иконические знаки отличает то, что они обладают более или менее явным характером своего объекта. Событие-икона в некоторых своих аспектах *сходно* с тем событием, которое оно означает. Очевидно, описанный нами жест пассажира катера – есть иконическое подобие обыденного жеста приветствия. Он опознается как приветствие не в силу сложившейся «приметы», а именно благодаря своей похожести на непревращенный, повседневный жест. Такова, кстати, природа театрального представления – изображенные события указывают на события изображаемые посредством уподобления им, копирования их отличительных признаков.

Основания феномена нетранзитивности обнаруживаются не только в разделении «фигуративных» и «буквальных» компонентов события, но и в различиях отношений сигнификации между событиями. Например, жест пассажира катера – это иконический знак жеста повседневного приветствия, который в свою очередь является жестом-символом в ритуале «демонстрации мирных намерений». Интерпретируя жест пассажира, мы рассматриваем иконическую коннотацию и игнорируем символическую. Так возникает нетранзитивность – прерывание цепочки означаний.

Определение события как иконического знака другого события открывает перед нами перспективы дальнейшего перенесения семиотической логики в социологию и антропологию повседневности. Этот шаг оказывается близок способу рассуждений Ирвинга Гофмана. Указав в своей теории фреймов на то, как погоня становится бегом, а военные действия – учениями, Гофман, тем не менее, избежал вопроса о *внешнем подобии*, иконичности событий. Событие «ревнивый муж убивает неверную жену» на репетиции спектакля *подобно* событию такого же

содержания на премьере и более того, замещает его до премьеры, являясь его предвосхищающим отражением. Но то же событие убийства на премьере должно быть *подобно* событию убийства в реальной жизни, чтобы зрители «поверили» постановке. (Для обозначения этой специфической «веры» Гофман заимствует у психолога У. Джемса понятие «вовлеченности» – involvement).

Итак, события, перенесенные из одного контекста в другой, связаны отношениями иконического означания. Одно из них (изображенное) отсылает к другому (изображаемому) в силу своего подобия ему. Однако здесь на каком-то этапе логика сигнификации дает сбой. Проблема кроется в самом понятии «иконического знака».

По определению Пирса, иконический знак «обладает известным натуральным сходством» с объектом, к которому он относится. Последователь Пирса, один из основателей семиотики, Ч.У. Моррис развил это определение, указав на иконический знак, как знак, который несет в себе «некоторые свойства представляемого объекта» [13].

Но что значит «некоторые свойства»? До какой степени жест студента, выражающего свое недовольство в разговоре с друзьями (большой палец указывает в пол, остальные пальцы собраны в кулак), иконичен жесту римского патриция, призывающего лишить жизни поверженного гладиатора? Насколько сцена казни в кино обладает свойствами события реальной казни? Даже если инсценированное событие казни включает в себя такой компонент, как реальное убийство человека (подобным образом изображалась казнь в римском театре эпохи Ливия: в «роли» казненного выступал приговоренный к смерти преступник), мы не можем сказать, что это событие-знак абсолютно иконично своему прототипу. Граница сцены разделяет «порядки существования», различая даже очень сходные внешне события [14, 238].

Получается, абсолютно иконическим знаком может быть только знак, указывающий сам на себя, т.е. сам являющийся своим объектом. Сказать, вслед за Моррисом, что «иконичность – вопрос степени», значит, сделать это понятие слишком неопределенным и невразумительным.

Применительно к теории событий, проблема иконичности усложняется еще тем, что и репрезентация, и репрезентируемое (т.е., и знак, и его объект) принадлежат одному классу явлений – социальным событиям. Умберто Эко, критикуя определение Морриса, анализирует в качестве примера иконического знака изображенный на рекламном плакате стакан с пивом: «Трудно не согласиться с тем, что эта визуальная синтагма – иконический знак. И мы прекрасно понимаем, о каких свойствах означенного объекта идет речь. Но бумага это бумага, а не пиво и холодное отпотевшее стекло» [15, 125]. О событиях так сказать нельзя. Человеческое действие на сцене и человеческое действие на улице не столь различны, как стакан и его изображение на плакате.

Отсюда соблазн – приравнять изображение и изображаемое, отказаться от самой мысли представить одно из этих событий как реальное, а второе как отраженное, скопированное, поддельное, искусственное. Соблазн еще раз повторить вслед за Гофманом: «любое из изображений может быть в свою очередь создано путем копирования чего-то такого, что само является макетом», а потому искать «первый прототип», исходное событие, фундаментальную реальность бессмысленно.

Так логика сигнификации встраивается в «релятивистскую программу» исследований повседневного мира. Во-первых, посредством отношений означания события повседневности связываются с иными, неповседневными событиями, отчего границы повседневного становятся размытыми и неопределенными. Во-вторых, наблюдаемые события повседневности превращаются в иконические знаки других событий, их почти точные «копии», не менее реальные, чем «оригиналы». Но проблема иконичности здесь не решается, а просто выносится за скобки, как не имеющая смысла.

Тем не менее, есть одно существенное отличие иконического знака, которое препятствует его отождествлению с объектом: копия *схематичнее* оригинала. Именно схематичность иконического события-знака создает возможность его интерпретации как «двусмысленного» и «небуквального» события.

В схематичности иконических знаков угадывается проявление тех самых подобных кавычкам маркеров фигуративности, о которых шла речь выше. Поцелуй двух знакомых *схематичнее* поцелуя любовников, убийство Дездемоны на репетиции *схематичнее* убийства на премьере, а убийство на премьере – *схематичнее*, чем в жизни.

Схематичность можно определить как *нарушение ритма* события, когда одни его аспекты гипертрофируются, а другие – затушевываются. Именно поэтому событие, выполняющее функцию иконического знака, может быть до гротеска экспансивным: Софи Лорен, посылая воздушный поцелуй служащему аэропорта, делает это нарочито женственно; молодой учитель, притворяясь строгим, хмурит брови сильнее, чем делал бы на его месте по-настоящему строгий учитель; пассажир катера приветствует незнакомых людей еще более жизнерадостно, чем приветствовал бы старых знакомых на улице. Нетрудно заметить: гипертрофируются именно фигуративные компоненты, с тем, чтобы намекнуть наблюдателю: «это игра» [16]. *Схематичность представляет собой специфическую интонацию иконического события.*

Акцентирование одних компонентов в событии-знаке связано с редуцированием других. Каких? В первую очередь, тех, которые составляют саму материальную основу означаемого, непревращенного события. Например, телесность поцелуя редуцируется при обращении его в знак дружбы. Материальность удара замещается «схематичным» похлопыванием по плечу. Искренняя обеспокоенность состоянием собеседника утрачивается, если вопрос «Как Ваше здоровье?» задается фигуративно, без желания получить ответ.

Иными словами, схематичность события-означающего подменяет материальность события-означаемого.

8. Антропология повседневности и логика сигнификации

Что дает описанная выше логика анализа для исследований повседневности? Мы уже говорили о том, насколько значимым для «релятивистской программы» оказывается путь рассуждений в категориях знаков и репрезентаций: события повседневных и неповседневных порядков существования тесно переплетены и рядоположены. Между ними не остается жестких границ и субординации. Поскольку нет иерархии, нет континуума между «повседневностью» и «сном», на котором располагались бы остальные «промежуточные» формы реальности, все события в равной степени *поверхностны* [17] (от автора - о понятии «события на поверхности» см.: Филиппов А.Ф. *Пространство политических событий // Полис [Готовится к публикации]*), лишены третьего измерения.

Во-первых, утверждение «поверхностности событий» направлено против онтологической программы исследований повседневности. Ни одно из событий не является более «глубинным», чем остальные. Бессмысленно искать ускользающий подлинник в основании социальной реальности, ведь оригинал сам может оказаться всего лишь копией. Поэтому следует перенести фокус анализа на отношения означания, обладающие самостоятельным существованием. Поверхность – это просто метафора рядоположения, двумерности, специфического пространства событий, в котором отсутствует деление на более и менее глубокое.

Во-вторых, утверждение поверхностности событий направлено против *логики каузальности*. Семиотический анализ противостоит причинно-следственному анализу, логика сигнификации – логике каузальности. Установление отношений означания между событиями исключает возможность установления между ними причинно-следственной связи. Мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем наверняка, был ли пароход «Лузитания» потоплен немецкими подводными лодками. Причины этого события сокрыты от нас «на глубине», тогда как задача аналитика – установить связь «на поверхности». На поверхности же мы можем фиксировать связь сигнификации: «нападение на гражданский пароход означало объявление войны». Было ли это событие причиной неизвестно, но оно, безусловно, было знаком – индексом или символом, в зависимости от перспективы анализа. Применительно к повседневным событиям: неизвестно, вызывает ли ритуальный танец индейцев дождь, но он, очевидно, является его сигнификатом.

Каузальный анализ агрегирует события в хронологии, в которых каждое событие чем-то обусловлено и что-то обуславливает. Он основан на постулате диахронии, последовательного разворачивания во времени причин и следствий. Семиотический анализ, напротив, предлагает анализировать события как существующие в рамках не хронологий, но *вневременных универсумов* событий-знаков.

По сути, вневременные универсумы знаков – это всего лишь коды («словари») тех устойчивых смыслов, которые позволяют вычленивать события из потока повседневной жизни. То есть, ретроспективное выделение событий, описанное в четвертой части настоящей работы, не произвольно и не является сферой свободного творчества субъекта. Смыслы, накладываемые поверх ткани повседневности, константны и кодифицируемы. Ретроспективно осмысливая свой опыт в той или иной системе значений, мы не просто делаем его дискретным, перфектным, событийным, но помещаем выделенные таким образом элементы (события) в заготовленную сетку классификаций, где они начинают играть роль означаемых или означающих.

Таким образом, семиотический анализ гораздо более совместим с предложенным способом определения события, чем анализ каузальный. Ведь теперь мы можем говорить об устойчивых смысловых системах событий, развивая аналогию между языком и социальной жизнью. Можно, например, попытаться обозначить события повседневности как «минимальные элементы повседневной социальной реальности, наделенные смыслом». То есть, события – это *монемы*, элементы первого ряда членения, из которых затем образуются *синтагмы*, сложноструктурные комплексы событий (которые А.Ф. Филиппов предлагает называть «фигурациями»). Так же, как монемы членятся на *фонемы*, не обладающие собственным значением, но делающие возможным выражение значения целого, события дробятся на компоненты, подобные рассмотренным маркерам фигуративности, интонирующим событие. (Эти компоненты не рядоположны событию – событие не состоит из событий, оно элементарно в силу элементарности самого акта наблюдения-идентификации – но входят в его логическую конструкцию). И так далее, до тех пор, пока не будет составлен полный каталог всех форм, выкраиваемых из ткани повседневности наблюдателем-интерпретатором.

Впрочем, как бы ни была заманчива перспектива составления исчерпывающего «словаря повседневности», в котором из конечного набора простых, рутинных компонентов складывались бы осмысленные события, связанные друг с другом отношениями означания, логика сигнификации на определенном этапе заводит исследователя в тупик. Проблема в том, что рассмотрение события только как знака (иконического, индексального или символического) не позволяет анализировать повседневное событие в его материальности и конкретности. Ведь всякий знак схематичен, а событие – материально, поскольку представляет собой не только смысловое, но и пространственно-временное единство.

«Ясно, что поскольку знак не тождественен обозначаемой им вещи, – замечает Ч.С. Пирс, – но разнится с ней в некоторых аспектах, у него должны иметься свойства, принадлежащие ему самому по себе и не имеющие отношения к репрезентативной функции. Такие свойства я называю *материальными* качествами знака» [12, 26]. Именно материальные качества ускользают от нас всякий раз, когда мы помещаем анализируемое событие в интерпретативные схемы семиотики. Например, овал, нарисованный на листе бумаги. До тех пор, пока мы не идентифицировали его как букву «О», мы можем задавать вопросы о толщине линии, цвете, диаметре, о неровностях и шероховатой поверхности листа. Каждый из материальных элементов этого объекта открыт для нашей интерпретации и потенциально значим. Но лишь только мы определяем изображенное как знак (букву «О»), все эти материальные аспекты отходят на второй план – ни диаметр, ни цвет, ни угол наклона больше не имеют значения.

В событии-знаке материальное делается схематичным обозначением материальности. Взятое чисто в логическом, смысловом своем аспекте, событие повседневности уже не может быть рассмотрено как пространственно-временной элемент социальной жизни, поскольку сам смысл события находится вне пространства и времени.

Можем ли мы вернуть в методологию анализа повседневных событий пространство и время, не откатившись назад, к заблуждениям каузальной логики, где все есть причина и все есть следствие? Как исследовать событие в его материальности и конкретности, не упуская при этом из виду знаковые аспекты повседневности?

9. Логика материального. Физическая контекстуализация события

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы нам необходимо вернуться к исходному описанию материальных аспектов анализируемого жеста. Пассажир катера машет рукой людям, которые:

- а) находятся вне пределов досягаемости;
- б) находятся в зоне прямой видимости;
- в) перемещаются относительно него.

Эти особенности физического контекста события указывают на его специфику как свершения в пространстве и времени. Во-первых, внятные пространственные границы: дистанция, разделяющая адресанта и адресатов, допускает их взаимное наблюдение, но исключает непосредственное соприсутствие. Во-вторых, временной промежуток достаточен для совершения жеста. В-третьих, имеет место перемещение в пространстве с соответствующим изменением возможностей коммуникации. Таким образом, описание физического контекста события оказывается описанием *пространственно-временных обстоятельств события в их трансформации*.

В нашем случае трансформация физического контекста обусловлена перемещением в пространстве. Но перемещение перемещению рознь. Представим, что пассажир, устав стоять на палубе, пройдет в общую каюту. Оттуда он через иллюминаторы по-прежнему может наблюдать людей на мостах и берегах реки. Однако шансов на то, что событие шуточного жеста приветствия произойдет теперь – значительно меньше. Хотя пассажир переместился всего на несколько метров относительно своего прежнего местоположения, стекло отдалило его от потенциальных адресатов. Далее, пассажир решает не оставаться на верхней палубе, а спускается в трюм, где расположен бар. В баре играет музыка, заглушающая шум волн, иллюминаторы отсутствуют и если бы не легкое покачивание, пассажир мог бы подумать, что находится на берегу. Если же покачивания нет, разница между речным круизом и стандартным времяпрепровождением в питейном заведении окончательно утрачивается. Более того, утрачивается разница между перемещением в пространстве и нахождением в состоянии покоя. В трюме движение *не чувствуется*.

Следовательно, перемещение не является само по себе контекстообразующим фактором, вызывающим к жизни те или иные повседневные события. Описания траектории движения или изменения соотношения зон – перцептивной и манипулятивной – также недостаточно чтобы понять, каким именно образом событие взмаха руки связывает адресанта с его адресатами.

Чтобы разобраться с этим представим себе не пассажира прогулочного катера, а человека, путешествующего по Москве-реке на водном велосипеде. Он в гораздо большей мере, нежели пассажир, связан физическими обстоятельствами перемещения: преодоление каждых следующих ста метров требует от него мускульного напряжения, в то же время, он – в отличие от пассажира катера – до определенной степени волен в выборе направления движения. Физический контекст

для него более *релевантен*, чем для пассажира, стоящего на палубе, и уж тем более – для пассажира в трюме.

Таким образом, мы выходим на понятие *релевантности физического контекста*. Мы можем анализировать события по степени их «укорененности» в физическом окружении: для одних событий физические условия их свершения более значимы, чем для других. Вероятно, определенность, внятность, очевидность границ этих событий задана не наблюдателем и не «коррелятивным наблюдению фреймом», а именно пространственно-временным контекстом их свершения. Эти границы скорее регистрируются, нежели конституируются наблюдателем.

Впрочем, и сами события способны к «реконтекстуализации» – изменению режима релевантности физического контекста. Представим на секунду, что пассажир катера, который совсем недавно весело махал рукой незнакомым людям на набережной, делает неосторожное движение и падает с верхней палубы в воду. Ему уже не до игровых жестов. Взмахи рук, адресованные всем, находящимся в зоне видимости, будут нести вполне определенное сообщение, не имеющее ничего общего с перфомансом. Падение в воду выводит прежде игнорируемый физический контекст события на первый план: если стоя на палубе, пассажир мог не задаваться вопросами о скорости движения катера, температуре воды, глубине реки, направлении ветра, расстоянии до берега и дистанции, отделяющей его от случайных наблюдателей, то неосторожное движение делает все эти обстоятельства весьма значимыми. Так происходит «уплотнение реальности»: событие падения резко повышает релевантность физического контекста.

Попробуем упорядочить описанные контексты. На одном конце ряда – пассажир, отдыхающий в полной безопасности в трюме катера, на другом – тот же пассажир, неожиданно для себя оказавшийся в водах Москвы-реки. Контекст интересующего нас жеста шутливого приветствия (пассажир стоит на палубе и наблюдает окрестности) находится как раз в середине выстроенной последовательности: «река - водный велосипед - верхняя палуба катера - каюта - бар в трюме».

Что лежит в основании этого ряда?

Во-первых, убывающая степень релевантности физического контекста. Во-вторых, возрастающая степень *рутинности*. Путешествие пассажира в баре катера может переживаться им так же, как и всякое иное пребывание в подобного рода заведениях; например, как нечто вполне ординарное, не выходящее за рамки повседневных операций. Падение в воду выбивается из ряда рутинных событий, заставляя считаться с обстоятельствами места и времени. Сидя в баре катера, пассажир волен вообразить себя на борту трансатлантического лайнера, в вагоне-ресторане или в кабачке напротив своего дома, но, упав в воду, он сталкивается с определенностью материальной составляющей этого события, теперь ему гораздо сложнее «переопределить ситуацию», он сильнее связан физическими условиями своего положения. Событие падения несомненно в своей пространственно-временной данности – это событие, происходящее «здесь и сейчас» (во всяком случае для самого упавшего). Более того, это событие переключает режим релевантности физического контекста и тем самым проводит границу между событиями «до» и «после».

Таким образом, релевантность физического контекста события непосредственно связана с рутинностью событийного ряда. До тех пор, пока ничто не нарушает рутины, от определенности места и времени легко можно абстрагироваться – они не релевантны событию. Однако непредвиденное, прерывающее установленный ряд (и потому опасное) событие «возвращает к действительности», то есть к материальности физического контекста.

Помимо релевантности физического контекста, анализ материальной составляющей события указывает на значение *телесности*. Глядя на что-то занятное в баре катера, пассажир выступает в роли наблюдателя-интерпретатора: он соотносит видимое событие с неким коррелятивным ему смысловым фреймом и дает событию определение (помещая в тот или иной класс явлений, занимая по отношению к нему некоторую позицию и прогнозируя дальнейший ход развития событий). Значение телесности наблюдателя здесь невелико, по сути, оно ограничивается тем, что наблюдатель сам находится в пространстве, идентифицирует себя как находящегося в пространстве, а наблюдаемое событие – как событие в пространстве. Но поскольку физический контекст здесь слабо релевантен, то и сам наблюдатель оказывается в определенном смысле «дематериализованным», своего рода воплощением процедур наблюдения и интерпретации происходящего.

Однако чем выше значение физического контекста, тем сильнее *телесная вовлеченность* наблюдателя. Ранее, раскрывая логику сигнификации, мы говорили о вовлеченности наблюдателя, имея в виду интенсивность его внимания. (Гофман приводит здесь пример театрального представления, на которое не просто направлен взгляд наблюдателя, но которое захватывает все его сознание). Однако даже самый заинтересованный зритель не поглощен так происходящими вокруг него событиями, как поглощен ими упавший в воду пассажир. Он вовлечен в них буквально всем телом...

Можно ли сказать, что чем выше релевантность физического контекста, тем меньше в событии «знаковости», фигуративности? Все приведенные нами доводы в пользу такого утверждения справедливы только для самого упавшего, да и то лишь на определенный период. Любым другим пассажиром катера, наблюдавшим его падение, это событие вполне может интерпретироваться как событие-знак (например, дурное предзнаменование). Следовательно, соотношение материальности/фигуративности события коррелятивно «контуру вовлеченности» наблюдателя. *Телесная вовлеченность коррелятивна материальной определенности события и непосредственно связана с его физическим контекстом.*

Помимо рутинности событийного ряда и телесности наблюдателя, релевантность физического контекста связана с проблемой *технического опосредования* [18; 19]. Находясь в трюме, пассажир способен абстрагироваться от физического контекста благодаря тому, что между ним и этим контекстом встают прочные стены катера, музыкальный центр, заглушающий шум волн, и множество иных технических приспособлений. На палубе таких приспособлений меньше. Еще меньше приспособлений у человека на водном велосипеде – от плотных слоев реальности его отделяет только хрупкая металлическая конструкция. Наконец, упавший в воду пассажир вообще оказывается один на один с материальностью физического контекста.

Телесная вовлеченность обратно пропорциональна степени технического опосредования. Чем больше технических приспособлений вовлечено в происходящее, тем больше задач им делегировано и, соответственно, тем меньше телесная вовлеченность наблюдателя [20]. *Техническое опосредование события – это специфическая форма подавления релевантности его физического контекста.* До тех пор, пока техника действительно опосредует, т.е. справляется с делегированными ей функциями, повседневные события сохраняют свой рутинный ход, а релевантность физического контекста низка.

Американский писатель Роберт М. Пирсиг в своем нашумевшем романе «Дзен или искусство ухода за мотоциклом» (1974) описывает различия двух режимов релевантности физического контекста: «Путешествуя на мотоцикле, видишь все совершенно по-особому. На машине вы все время находитесь в кабине и, привыкнув к ней, не осознаете, что глядеть из автомобильного окна – все равно, что смотреть телевизор. Вы пассивный наблюдатель, а то, что снаружи, лишь мелькает в рамке окна, навевая скуку. На мотоцикле этой рамки нет вообще. Вы в полном контакте с окружением и уже не просто смотрите картину, а *вписываетесь* в нее – ощущение присутствия полнейшее. Бетон, проносящийся в пяти дюймах от ступней, – самый настоящий, точно такой же как, как тот, по которому вы обычно ходите; вот он, здесь, так и мелькает, что невозможно задержать на нем взгляд, но стоит в любой момент опустить ногу, и вы его коснетесь. Все воспринимается настолько живо, что ни на миг не покидает сознания».

Почему в автомобиле материальность физического контекста «покидает сознание»? Потому, замечает Пирсиг, что есть *рамка*, подобная экрану телевизора, разделяющая зоны «здесь» и «по ту сторону». Рамка разграничивает манипулятивную и перцептивную зоны. Такого рода рамка служит средством последующей дематериализации события, подмены материального знаковым.

Рамка – пространственное воплощение отстраненности наблюдателя от наблюдаемых социальных событий. Тем сильнее шок разрушения рамки, изменения режима релевантности физического контекста и телесного вовлечения в наблюдаемое.

10. Зонд

До определенной степени соотношение рутинности, телесности и технического опосредования можно проиллюстрировать хорошо изученным в психофизиологии «эффектом зонда». Г. Бейтсон в этой связи приводил пример слепого человека, который при ходьбе ощупывает дорогу палкой. Граница, разделяющая тело этого человека и физический контекст его перемещения, проходит не там, где заканчивается рука и начинается зонд (палка), а там, где заканчивается зонд и начинается мостовая; именно на этой границе локализованы ощущения идущего – так, словно зонд есть продолжение его руки. Норберт Винер ставил вопросом сходным образом: является ли искусственная рука механика, пытающегося починить автомобиль, частью механизма, с которым возится механик, или частью механика, занятого починкой [21]? Интересующая нас граница (которая лишь метафорически может быть названа границей субъекта и объекта) отлична от границы живого и неживого. «Замечательная особенность рассматриваемого отношения, – отмечал А.Н. Леонтьев, – заключается в том, что эта граница проходит как граница между двумя физическими телами: одно из них – конечность зонда – реализует познавательную перцептивную активность субъекта, другое – составляет объект этой деятельности. На границе этих двух материальных вещей и локализуются ощущения, образующие «кань» субъективного образа объекта: они выступают как сместившиеся на осязающий конец зонда – искусственного дистант-рецептора, который образует продолжение руки действующего субъекта» [22, 61-62].

Суть феномена делегирования проявляется как раз в способности материального объекта выступать продолжением человеческого тела. Автомобиль – продолжение водителя (если тот, конечно, сосредоточен на вождении, а не роется в бардачке). Интересующая нас граница предсказуемости/автономности при движении по автостраде проходит по границе бампера, но

лишь до тех пор, пока автомобиль полностью подчинен водителю и служит продолжением его тела. В тот момент, когда отказывает система управления, машина перестает быть послушным зондом, граница предсказуемости/автономности смещается и проходит теперь между руками и рулем, между ступнями и педалями.

В современном мире – мире послушных объектов – совпадение границы предсказуемости/автономности с границей живого/неживого, как правило, происходит лишь в случаях поломки зонда. (Самый простой пример – в шариковой ручке заканчиваются чернила и из «воплощенной функции письма» она снова становится материальной вещью).

Чем больше послушных объектов, использование которых доведено до автоматизма, вовлечено в наше повседневное существование, тем «разреженнее» и непроблематичнее повседневная реальность. Объекты исчезают [23, 240]. Когда техника более не опосредует взаимодействие, реальность из привычной, рутинной, «разреженной» превращается в «плотную среду», сопротивляющуюся человеческим усилиям. Такое «уплотнение реальности», связанное с резким переключением режима релевантности физического контекста, Брюно Латур называет «*столкновением*», считая интенсивность столкновений мерой событийности [19; 24]. Не принимая полностью латуровского подхода, попробуем выделить класс событий, для которого непосредственная материальность контекста (воплощенная в «столкновении») действительно служила бы конститутивным признаком.

11. Происшествие

Перечислим еще раз выделенные аспекты материального основания социальных событий: *релевантность* физического контекста, телесность и *телесная вовлеченность* наблюдателя, *техническое опосредование*, *рутинность*. Все эти параметры организованы вокруг идеи контекста. Но в данной логике контекст понимается не как «единство смысловых единств» (framework), а как единство физического окружения. Благодаря сцеплению с этим контекстом событие обнаруживает свою укорененность во внешнем мире. Именно поэтому выше речь шла в основном о том типе событий, которые Г. Зиммель назвал «приключениями» [25], а мы будем называть «*происшествиями*».

Происшествие – это событие, для которого высока релевантность физического контекста, событие, выбивающееся из рутинного событийного ряда (образующее, по выражению Зиммеля, «экслав» жизни) и непосредственно связанное с телесной вовлеченностью участников. Происшествие принципиально не редуцируемо к своей знаковой, фигуративной составляющей, оно есть в первую очередь материальное, пространственно-временное единство. Пассажир, проведший большую часть путешествия в трюме, выбираясь на берег, на вопрос о круизе ответит: «Без происшествий». Пассажир, извлеченный из воды спасателями, скорее всего, надолго запомнит этот момент и это место. Воспоминание о них образует «историю», в которой он сам, место, время, происшествие, а также описание физического контекста и предшествующих событий, выделяемых ретроспективно, как пролог к случившемуся, будут тесно связаны нарративом.

Однако как быть с жестом шутливого приветствия пассажира на палубе? По степени релевантности физического контекста, он расположен между падением в воду и пребыванием в трюме.

Игровой жест приветствия проблематизирует ситуацию перемещения, прерывая размеренный ход событий. Он не является происшествием в полном смысле слова, «экславом жизни», скорее, это акт повышения релевантности физического контекста, который можно назвать «*актом сцепления*». До этого жеста (и, скорее всего, после него, если жест останется без ответа) люди, наблюдающие за катером с набережной, существуют для пассажира непроблематично – в качестве физических тел, элементов пейзажа. Описанный жест устанавливает между пассажиром и наблюдателями особый род отношений – отношения признания: пассажир не просто различает наблюдателей на «фоне» среды, он признает в них воспринимающих человеческих существ, потенциально способных ответить на его жест, вступить в коммуникацию. (Поэтому содержание жеста контингентно – пассажиры прогулочных катеров, привлекая внимание наблюдателей, часто используют не столь приличествующие случаю жесты как жесты приветствия. Так же и те, кто «провожают» поезда, стоя рядом с железнодорожной насыпью, отнюдь не всегда провожают их традиционным взмахом руки).

В результате описанного «акта сцепления» границы ситуации соприсутствия раздвигаются. Для пассажира, находящегося в трюме, ситуация соприсутствия с другими людьми (потенциальными участниками взаимодействия) определена физическими границами помещения. Пассажир в каюте различает близкое пространство манипулятивной зоны, которое задает границы соприсутствия, и слабо дифференцируемый фон «за окном». В отличие от них пассажир на палубе проблематизирует границу между близким пространством потенциального взаимодействия и «фоном», вовлекает элементы фона (физического контекста) в ситуацию соприсутствия. За счет этого расширения границ контекст и приобретает большую релевантность. А поскольку

релевантность контекста и рутинность находятся в отношении обратной зависимости, спонтанный «акт сцепления» пробивает брешь в бессобытийной рутине круиза.

12. Логика материального и антропология повседневности

Выбранная логика анализа имеет свою специфику. Она фокусирует внимание на материальных аспектах повседневного события (релевантности физического контекста, контуре вовлеченности наблюдателя, техническом опосредовании самого процесса наблюдения, проблематизации границ соприсутствия в «актах сцепления»), но оставляет за скобками все, что связано с указанием на причины. Что движет пассажиром катера, совершающим «акт сцепления»? Существует ли какая-то отличительная потребность в раздвигании границ соприсутствия и повышении релевантности физического контекста? Можно ли говорить об особом типе мотивации – о стремлении к максимальной телесной вовлеченности в происходящее и связанным с нею намеренным снижением технического опосредования (безмоторная авиация, кругосветные путешествия на надувном плоту, экстремальный туризм, американские горки)? Ответы на эти вопросы не могут быть получены из наблюдения событий и описания их материальной составляющей. Наблюдение ничего не говорит о причинах. Оно нацелено на установление отношений следования, тождества и различия.

Так же, как семиотическая логика оказывается на руку «релятивистской программе», акцентируя репрезентативность, схематичность, символическую насыщенность повседневного мира, логика материального ближе «онтологической программе», поскольку возвращает повседневности ее пространственно-временную протяженность, телесность, объективность. Один из наиболее последовательных сторонников логики материального в интерпретации повседневного мира, Брюно Латур отмечает: «Почему бы не обратиться ко всем этим бесчисленным объектам... вездесущим для людей, локализирующим и глобализующим взаимодействие? Как вы можете представить себе конторку без разговорного устройства, поверхности стойки, двери, стен, стула? Разве они не задают рамки интеракции? Как бы вы подводили дневной баланс без формуляров, расписок, счетов, гроссбухов и как можно не заметить прочность бумаги, долговечность чернил, гравировку монет, твердость скрепок? Стремясь сделать социальное из социального, подлатав его символическим, социологи не замечают присутствия объектов в тех ситуациях, в которых они ищут лишь смысл» [18, 236].

Логика материального подталкивает нас к пересмотру исходной метафоры повседневного мира, как некоего «полотна», из которого наблюдателем, по лекалу смысла, вырезаются фрагменты-события. Понятая, как поток свершений в пространстве и времени, повседневность обнаруживает способность к сопротивлению, поразительную неподатливость произвольной «дискретизации». В этом отношении она подобна не ткани, а мрамору, структура которого облегчает вычленение одних фрагментов и делает совершенно невозможным вычленение других. *Материал повседневности диктует логику своего наблюдения.* И если принять во внимание все материальные (а не только фигуративные) компоненты повседневного мира, метафора отрешенного наблюдателя социальных событий, определяющего их границы и наделяющего их смыслом, выглядит неубедительно. Она применима лишь к дематериализованным событиям, для которых физический контекст не релевантен, а телесная вовлеченность самого наблюдателя минимальна. Так, человек в кресле самолета, следя за своими перемещениями по пунктирной линии на экране, может произвольно делить этот маршрут на фрагменты: «первые тридцать минут полета», «пересечение нулевого меридиана», «последний час перед посадкой» и т.д. Для пилота границы событий более очевидны: «выход из зоны турбулентности», «вынужденное снижение высоты», «запрос об аварийной посадке».

События, тождественные в смысловом отношении, могут оказаться нетождественными в отношении материальном. Как, например, шахматные партии, сыгранные по интернету, по телефону и на доске, различны по степени релевантности физического контекста, даже если все ходы в них идентичны. Эту двойственность повседневных взаимодействий неоднократно подчеркивал И. Гофман. «Игра в шахматы, – отмечал он, – содержит два принципиально различающихся основания: одно полностью принадлежит физическому миру, где происходит пространственное перемещение материальных фигурок, другое относится непосредственно к социальному миру противоборствующих в игре сторон» [4, 84].

Однако насколько правомерно это жесткое различие социального мира, локализованного в области символических репрезентаций, и физического мира простых «материальных фигурок»? Нигде эта последовательная «дематериализация» социального не оказывается столь неудовлетворительной, как в случае с повседневными событиями. Их материальность слишком тесно связана с самим процессом наблюдения, она буквально бросается в глаза. (В отличие, например, от неповседневных событий «большого спорта», «большого бизнеса», «большой политики», присутствующих в повседневном мире человека с улицы в качестве дематериализованных тем коммуникации). Более убедительным здесь выглядит предположение Б. Латура о том, что на уровне повседневности социальное не существует вне многочисленных

объектов и технических приспособлений, а смонтировано, сконструировано, собрано с их использованием.

Это предположение верно и в отношении тех «неповседневных порядков существования», присутствие которых в мире повседневности мы вначале обозначили как «*вкрапления*». Чтение в метро действительно являет собой яркий пример отстранения от повседневной реальности и, повторим, тот факт, что, зачитавшись, легко проехать свою остановку иллюстрирует возможность такого «ухода в неповседневное». Но насколько сама эта возможность «неповседневна»?

Поездка в метро (если маршрут известен, ничего неожиданного не происходит и поезд не выходит на поверхность, заставляя пассажиров отвлечься от чтения) представляет собой исключительно рутинный вид перемещения. Пассажиры лишены даже возможности созерцания чего-либо «за окном», не считая остановок на станциях. В отсутствии давки телесная вовлеченность пассажиров минимальна, а степень технического опосредования их движения – максимально велика. Соответственно, мы можем говорить о низкой степени релевантности физического контекста. «Стандартная» поездка в метро бессобытийна и эта бессобытийность рутины составляет материальное основание отстранения от повседневности, открывая возможность для чтения, размышления, сна.

Однако почему в массе своей пассажиры метро, зачитавшись, задумавшись или даже уснув (хотя в случае сна этот тезис выглядит наиболее спорно), не пропускают своих станций? Очевидно, имеет место некоторая координация между дискретностью перемещения и циклами погружения/выныривания на поверхность текста. Замедление движения поезда, объявление станций, передвижения по вагону входящих или готовящихся к выходу пассажиров – все эти материальные компоненты поездки в метро размечают опыт, переключают режимы релевантности физического контекста, изменяют контур вовлеченности зачитавшегося пассажира. Они суть те самые «прожилки» в сопротивляющемся мраморе повседневности, которые в одних случаях (например, в предельно рутинных поездках в метро) допускают его свободную фрагментацию наблюдателем, в других (к примеру, в терпящем крушение самолете) – препятствуют ей.

13. Об элементарном составе повседневности

Способы рассуждения, названные нами «логикой материального» и «логикой сигнификации», на разных уровнях, но сходным образом ставят одну и ту же проблему – проблему *элементарного состава повседневного мира*. Жест пассажира прогулочного катера – пример такого элемента повседневности. О какой элементарности идет речь?

В случае анализа материальных оснований повседневных событий в фокусе оказывается дискретность пространственно-временных элементов социальной жизни, отделенных друг от друга многочисленными «скобками» – звонками, перерывами на обед, ритуальными действиями приветствия и прощания, а также стенами, этажами и тонированными стеклами автомобилей. Скачки релевантности физического контекста и разрывы рутины составляют материальную основу такой элементарности. Жест пассажира катера в данной логике рассмотрения предстает элементарным событием в силу того, что представляет собой акт переключения режима релевантности физического контекста и прерывания рутины.

На уровне анализа отношений сигнификации речь заходит о принципиально ином типе элементарности – об элементарности смысловых единств. И здесь мы вновь возвращаемся к дискретности самого «словаря повседневности». Жест пассажира катера оказывается элементарным событием, потому что в соответствии ему приводится другое элементарное событие – жест приветствия двух знакомых.

В логике материального повседневный мир предстает онтологически дискретным, в логике сигнификации – *дискретизированным* актами наблюдения и помещения зафиксированного наблюдателем события в тот или иной фрейм. Событие, как элемент повседневного мира, оказывается производным от двух типов дискретности – дискретности «материала» и дискретности «словаря».

Проблема здесь частично кроется в исходном определении события как одновременно «смыслового единства» и «свершения в пространстве и времени». Но как именно соотносятся между собой материальный и знаковый уровни события, его материальные и фигуративные компоненты? Такая постановка вопроса приводит нас к спору о соотношении *материальных и символических порядков*, разгоревшемуся в современной социальной теории [26]. Эта проблема, уходящая корнями в проблематизацию самой природы социального социологами-классиками, имеет весьма ограниченный набор решений.

Можно вслед за И. Гофманом жестко разделить мир социальных смыслов, воплощенный в символических репрезентациях, и мир «материальных фигурок». Тогда последние будут относиться к природной системе фреймов (определяющей «...события как ненаправленные, бесцельные, неодушевленные, неуправляемые» [4,82]), а первые – к социальной системе фреймов (обеспечивающей «...фоновое понимание событий, в которых участвует воля, целеполагание и разумность» [27]). Такое решение в конечном итоге приводит к странному дуализму, признающему относительную автономию и параллельность существования

символических и материальных порядков событийности. Кроме того, «материальное» в этом случае оказывается вообще вне сферы рассмотрения исследователя, а «социальное» практически отождествляется со «знаковым».

Два других решения связаны с редукцией либо материальных, либо сигнификативных оснований социальных событий. Редукция материальных оснований превращает социальное событие в чистый знак – элемент нарратива. Подобное решение прослеживается в герменевтике социальных событий П. Рикера [27]. Редукция символических оснований приводит к завышенной оценке значения материальных объектов, как конститuent социальной жизни. Такое решение свойственно представителям «поворота к материальному» в социальных науках [19; 24].

Очевидно, должно существовать решение, не сводящее материальное к знаковому (и наоборот), но и не признающее их тотальной взаимной автономии. Это решение ориентирует исследователя на поиск *гомологии* материального и сигнификативного компонентов события, их *со-образности*.

Так, гомологичны понятия «вовлеченности», как определяет его И. Гофман, и «телесной вовлеченности», как оно используется в описании материальных оснований события. Наблюдатель социальной жизни погружен в наблюдаемые события, захвачен ими, но будучи телесным индивидом он также и «укоренен» в них, разделяет с ними общность физического контекста.

Гомологичны понятие «границы фрейма», заимствованное у И. Гофмана, и понятие «рамки», как употребляет его Р. Пирсиг в описании режимов релевантности физического контекста. Поэтому событие может разрушить не только материальную «рамку», определяющую зону релевантности физического контекста, но и фрейм, в котором оно воспринимается наблюдателем. Выражение «Самолеты, направленные террористами во Всемирный торговый центр, разрушили картину мира средних американцев» не следует понимать исключительно метафорически. В этой метафоре тоже обнаруживается гомология материального и знакового планов анализа события. Происшествие, как особый тип события, связанного с разрывом рутины и резким переключением режима релевантности физического контекста, выламывается также и из контекста смыслового, заставляя пересматривать «границы рутинного мира». Взрыв в метро – тем более шокирующее происшествие, чем рутиннее наши обычные поездки этим видом транспорта.

Наконец, гомологичны понятия «фрейм» и «физический контекст». Первое выполняет по отношению к значению события ту же функцию, что второе – по отношению к его пространственно-временному свершению. Слова «сцена», «экран», «улица», «дорога» указывают одновременно на некоторые «места», где разворачиваются те или иные события, и на «фреймы», в которых эти события конвенционально интерпретируются.

Обнаружение гомологий открывает такую область анализа повседневных событий, в которой семиотическая логика и логика материального переплетаются. Повседневность оказывается «миром собранных форм», где материальное и нематериальное образуют весьма причудливые комбинации. Здесь социальная реальность приобретает сходство с поэтическим сообщением.

Отличительная черта поэтического сообщения – *небезразличие материальных компонентов знаков к их значению*. Рифма, например, укрепляет созвучием взаимоотношения двух связанных значениями слов. Поль Валери в своем «Курсе поэтики» отмечает: «Устроение поэзии загадочно... Странно, что дискурс должен одновременно подчиняться двум несовместимым условиям – условиям, предполагающим длительную и повторяющуюся связь между ритмом и синтаксисом, между звуком и смыслом...» [28, 318]. В поэзии, вторит ему У. Эко: «...весь физический состав означающих, облеченный в определенные последовательности и отношения, претворяется в ритм, далеко не безразличный к значениям: когда я, описывая какое-то шествие, прибегаю к анафоре, и говорю: «Идут всадники, идут пешие воины, идут знаменосцы», идеи и означающие, образуя параллельные ряды, складываются в гомологическую структуру, соответствующую порядку прохождения участников шествия» [29, 81].

Сходным образом, Р. Якобсон, анализируя лозунг предвыборной кампании генерала Эйзенхауэра, – «I like Ike» – показывает, как ритм фразы, относящийся, на первый взгляд, к области чисто материальных свойств, оказывается смыслопорождающим аспектом сообщения [30]. Гомологичность материальных и знаковых компонентов поэтического сообщения обусловлена двойной сегментацией – на синтаксическое членение накладывается членение ритмическое, организованное при помощи «регуляризации просодических единиц» [31].

Таким образом, поэтическое сообщение являет собой впечатляющий пример единства знакового и незнакового. По выражению Э. Кассирера: «Поэзия пишется образами, звуками и ритмами, которые сливаются в неделимое целое» [32, 608].

14. Наука о повседневности и «поэтика социального»

Стоит признаться: утверждение гомологичности знакового и незнакового в повседневном событии никак не следует из анализа самих событий. Напротив, это утверждение априорно, оно составляет аксиоматику предложенной здесь морфологии события. Не случайно, мы начали анализ события обыденного жеста с вопроса «как физические условия его совершения

(скоротечность пересечения манипулятивной и перцептивной зон, наличие нередуцируемой дистанции) связаны с содержательными характеристиками (безадресностью, имперсональностью жеста)?». Однако анализ повседневных событий может быть организован принципиально иначе.

Например, последовательный семиотический подход редуцировал бы материальную основу событийности, представив все наблюдаемое в повседневности по аналогии с событиями, разыгрываемыми на театральной сцене. *Театральная метафора* (предложенная в ранней, социально-драматургической работе И. Гофмана [33]) – это, пожалуй, наиболее ощутимый симптом дематериализации повседневного мира в социальной теории.

Другой яркий пример того же типа анализа – *шахматная метафора*. Сблудн уподобить события «ходам», встроенным в «комбинации», реализующиеся на том или ином участке «доски», оказывается исключительно силен при построении теоретического описания событийности. Действительно, трудно не поддаться заманчивой идее формализации наблюдаемых событий (а la «теория игр»). Но если для событий неповседневных (например, политических, а в особенности – геополитических) ограниченность подобного рассмотрения не столь очевидна, то попытки обнаружения формального кода повседневного мира напоминают патологическую «дереализацию повседневности», подобную той, которую переживает герой В. Набокова, шахматист Лужин, наблюдающий события своей жизни по аналогии с ходами шахматной партии.

Выбранная нами метафора «поэтики социального» противостоит семиотической установке театральной и шахматной метафоры. «Поэтическая» аналогия опирается на интуицию повседневного мира, как мира собранного, сконструированного, наполненного предметами и потому неизбежно материального – материальность пронизывает повседневные взаимодействия, препятствуя их растворению в «чистых» знаковых универсумах.

Эта интуиция обнаруживает себя сегодня как в работах социологов, стремящихся переписать предмет социального исследования, включив в него игнорируемую ранее объектность (см. цитируемые здесь работы Б. Латура), так и в трудах ведущих семиологов. Последнее кажется довольно странным – материальность повседневного мира, совокупность его незнаковых элементов традиционно относятся к экстрасемиологическим факторам, не «схватываемым» семиотической аналитикой или остающимся на периферии исследовательского интереса. Тем не менее, интерес к «...конкретным обстоятельствам коммуникации, нарушающим жизнь знаков и выпадающим в нерастворимый осадок семиотического исследования» не ослабевает. Вот что замечает по этому поводу У. Эко: «Непреложная реальность конкретных коммуникативных обстоятельств решающим образом влияет на семиотический универсум культурных конвенций, она укореняет в повседневной жизни сугубо теоретический мир абстрактных кодов и обобщений, подпитывая холодную отстраненность и самодостаточность семиотических смыслов жизненными соками природы, общества, истории...» [34, 71-72]. По мнению Эко не произвол наблюдателя, и не самореферентный процесс означивания событий, а «...реальное положение вещей заставляет предпочесть тот или иной код» в интерпретации повседневности [34]. (Причем, «положение вещей» здесь также не стоит понимать только метафорически).

Предложенная в настоящей работе морфология повседневного события, по сути, ограничивается анализом его логической конструкции. Нас больше интересовало строение событий, организация их материальных и знаковых оснований, нежели то, как события сцепляются между собой в фигурации, «растягиваются» в пространстве и времени, теряя непосредственную наблюдаемость. Этот переход – от морфологии события к *аналитике событийности* – необходим, но он требует отдельного пристального рассмотрения. Попробуем указать лишь на один из возможных путей такого перехода.

Что может противопоставить «поэтическая» метафорика события многочисленным «игровым» и театральным аналогиям в анализе повседневности? Взамен строгой красоты шахматных комбинаций и слаженности сценических постановок она предлагает крайне двусмысленное и неопределенное понятие *ритма*. Ритмы, по определению А. Лефевра, – это координаты, в которых оформляется опыт повседневной жизни [35, 219]. Именно идея ритма могла бы стать аналитическим инструментом, способным выявить гомологию материального и знакового в событийности повседневного мира.

Говоря о специфической интонации, которую сообщают событию маркеры фигуративности, мы прибегаем к идее нарушения ритма. Жест Софи Лорен чрезмерно экспансивен, жест молодого учителя гипертрофирован, жест пассажира катера недвусмысленно опознается как пародия на «настоящее» приветствие. Экспансивность, гипертрофированность, пародийность – все это характеристики аритмичности.

Точно так же мы говорим о нарушении ритма в случаях неожиданного переключения режима релевантности физического контекста в происшествии. Упорядоченность и предсказуемость событийности нарушается неожиданно совершающимся событием, «уплотняющим» материальность физического контекста. Таким образом, ритм оказывается характеристикой отношения элементов логической конструкции события и, в то же время, характеристикой его протекания в пространстве и времени. То, что верно для описания логической конструкции

события, можно экстраполировать и на событийные единства – фигурации, которые в данной метафорике оказываются единствами *композиционными*.

Ритм-анализ фигураций повседневных событий – регулярных и нерегулярных, повторяющихся и исключительных, обыденных и эксклавных – помогает заново проблематизировать понятие «рутины». Во-первых, рутина раскрывается через отношение событий между собой («каждодневная утренняя зарядка», «неизменный кофе», «завтрак», «просмотр газет», «проверка электронной почты» связаны в последовательность многократным повторением так, что одно из этих событий индуцирует другое). Во-вторых, через их связь с физическим контекстом (о релевантности физического контекста как величине обратно пропорциональной степени рутинности мы писали выше). В первом случае мы говорим о *размеренности* событийной цепочки – события плотно пригнаны друг к другу, тесно связаны между собой и потому предсказуемы. Таковы повседневные ритуалы (например, ежевечерний просмотр телесериала). Во втором случае мы указываем на *разреженность* событийности – в часто повторяемых, отлаженных, предсказуемых событиях объекты практически незаметны, релевантность физического контекста для них ничтожно мала. То, что рутинные цепочки событий характеризуются размеренностью («серийностью», по выражению Э. Гидденса) и, одновременно, разреженностью – разуплотнением физических обстоятельств – возвращает нас к идее гомологичности, но уже не на уровне морфологии отдельного события, а на уровне анализа их связи в композиции. Впрочем, это предмет будущего рассмотрения.

Література

1. Ашкерв А.Ю. Между живым прошлым и ускользящей Современностью // Социологическое обозрение.- 2003. - Т.3. - № 4.
2. Уорнер У. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000.
3. Зиммель Г. Рама картины. Эстетический опыт. // Simmel G. Der Bildrahmen. Ein ästhetischer Versuch // Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 7. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 101-108.
4. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. Батыгина.- М.: Институт социологии РАН, 2003.
5. Шюц А. О множественности реальностей // Социологическое обозрение.- 2003. - Том 3. - № 2.
6. Gurwitsch A. The field of consciousness. - Pittsburgh: Duquesne University Press, 1964.
7. Джемс У. Психология.- М.: Педагогика, 1991. - С. 56-57.
8. Филиппов А.Ф. К теории социальных событий // Логос.- 2004. - №5 (44).
9. Mead G.H. The Philosophy of the present. - Chicago, 1987.
10. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии, эпистемологии [пер. с англ.]. - М.: Смысл, 2000. - С. 213.
11. Берн Э. Игры, в которые играют люди [пер. с англ. под ред. М.С. Мацковского]. - М.: Университетская книга, 1997.
12. Пирс Ч. Начала прагматизма [пер. с англ. В.В. Кирющенко, М.В. Колопотина]. - СПб.: Алетей, 2000. - С. 222.
13. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. - М.: Академический проект, 2001.
14. Beare W. The Roman Stage. - London: Methuen & Co, 1964. - P. 238.
15. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию.- СПб.: Петрополис, 1998. - С. 125.
16. Bateson G. The message «This Is Play» // Group process / Ed. by B. Schaffner. - New York., 1955.
17. Делез Ж. Логика смысла. – М., 1998.
18. Latour B. On interobjectivity // Mind, Culture, and Activity: An International Journal. - 1996. - Vol. 3. - № 4.
19. Latour B. Trains of thought: Piaget, formalism and the fifth dimension // Common knowledge. - 1997. - № 6/3.
20. Latour B. Where are the missing masses? Sociology of a few mundane artifacts // Wiebe Bijker and John Law (eds.). Shaping Technology / Building Society. Studies in Sociotechnical Change. - Cambridge/Mass.: MIT Press. 1992.
21. Найссер У. Познание и реальность. - М.: Прогресс, 1981.
22. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат, 1975.
23. Гадамер Г., Искусство и подражание // Гадамер Г. Актуальность прекрасного. - М.: Искусство, 1991.
24. Law J. On the methods of long distance control: vessels, navigation and the rout to India // Power, Action and belief: A new Sociology of Knowledge? / Ed. by J. Law. - London: Routledge and Kegan Pol, 1986.

25. Зиммель Г. Приключение / Пер. с нем. А.М. Руткевича // Зиммель Г. Избранное. - Т.2. Созерцание жизни. - М.: Юрист, 1996.
26. Вахштайн В.С. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потoki» в акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. - 2004. Т.3. - №4.- [Электронный ресурс. Режим доступа: www.sociologica.ru/articles.html].
27. Рикер П. Память, история, забвение [пер. с франц. И.И. Блауберг]. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004.
28. Koestler A. The act of creation. - N.Y.: 1967. - P. 318.
29. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - СПб.: Петрополис, 1998.
30. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». - М., 1971.
31. Руднев В.П. Строфика и метрика: проблема функционального изоморфизма // *Weiner slawistische Almanah*. – 1985. - В. 17.
32. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке / Под ред. С.Я. Левита. - М.: Гардарики, 1998.
33. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни [пер. с англ. и вступ. статья А.Д. Ковалева]. - М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
34. Эко У. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - СПб.: Петрополис, 1998.
35. Lefebvre H. Writings on Cities // trans. and ed. E. Kofman and E. Lebas. - Oxford, 1996. - P. 219.